



Бунин И. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Произведения 1887 — 1909 г.
/ Коммент. В. Титовой //Художественная литература, М., 1987
FB2: WZ (WW_ZZ), 12 December 2019, version 1.0
UUID: 9390D88C-1782-40E6-B175-0BAAA774400F
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

При дороге

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0013
III.....	.0020
IV.....	.0026
V.....	.0033
VI.....	.0039
VII.....	.0048
Комментарии.....	.0055

Иван Алексеевич Бунин
ПРИ ДОРОГЕ

Устин, отец Парашкин, жил при большой Новосильской дороге.

Место, что он выбрал себе, отойдя от господ, было безлюдное. Ржи морями разливались по волнистым полям вокруг его степного двора. Во ржах за двором стояли два бесприютных дубка, шли неглубокие овраги, густо зараставшие к лету белыми цветами. Во ржах насупротив, за большой дорогой, терялся дубовый лесок; в той стороне было и село — однодворческое старинное село Баево, да волнистые поля скрывали его. До воли было много проезжих по большой дороге. Потом их следы, колеи затянулись, заглохли, закудрявились редкой мелкой муравой.

Устин давно вдовел, — говорили, что он убил жену из ревности, — жил не по-мужицки: не землей, а тем, что в рост деньги давал, сеял кое-что только для домашнего обихода, вокруг дубков и над оврагами, и даже скотины путной не держал: хороши у него были одни лошади. В избе хозяйничала сперва его любовница, вдова-однодворка, сероглазая

красавица, потом старшая дочь, Евгения. Но Евгению, чуждую и немилую ему, он рано выдал и заместил работником, пожилым придурковатым мужиком Володей. А сам часто отлучался из дому — и росла молчаливая Параша одиноко.

Однажды, — ей шел тогда четырнадцатый год, это было как раз в то лето, когда Евгения переселилась в Баево, гнали по большой дороге порядочный гурт овец: часто так делают — покупает купец сто, двести голов на одной ярмарке и перегоняет их на другую, нанимая для того босяков, а для надзора за босяками посылая приказчика. Дотлевала летняя заря далеко позади хутора. Поджидая отца из города, Парашка сидела на пороге избы, глядела на вечерние поблекшие поля, на голый простор дороги. Овцы густой грязно-серой отарой медленно двигались мимо с тем неопределенным шумом, что производят и движение ног и дыхание их, с запахом своего руна и корма — степных трав и полыни! А за ними шли собаки с высунутыми красными языками, запекшимися и запыленными за день, оборванный высокий малый рядом с

оборванным стариком и верхом ехал на белом горбоносом киргизе с кутузкой в руке, картузе на затылок, молодой мещанин.

— Здравствуй, красавица, — сказал старик, отделяясь от гурта. — Помоги нам, прохожим, попроси у отца серничка...

Она долго не отвечала, разглядывая его. Он был без шапки, клоки ее были надеты на его скользкий костыль. Он положил на него крупные блестящие руки, удерживая их дрожь, и с трудом дышал. В лохмотьях рыжего пальто, надетого на голое тело и подпоясанного обрывком, в подштанниках и сбитых опорках, зелено-седой и кудлатый, мертвенно-бледный и с запухшими глазами, он имел вид яростный, но в хриплом его голосе была доброта, усталость. Видна была серая шерсть на его груди, видно было, как трепещет под грудью сердце.

— Отца дома нетути, — ответила Парашка, нагладевшись.

— Так я и знал, так я и знал, — сказал старик. — Все катается, а ты одна растешь... «Вечор наша перепелушка, — сказал он, глядя в землю, — вечор наша рябая всее ноченьку

прокликала, все, темную, протрюкала...» Как же нам быть-то, красавица?

Подошел малый, мелкой бойкой рысью подъехал верховой, по-степному поджимая ноги в стремях под брюхо своего толстогрудого киргиза, уморенного, но все горячившегося, задиравшего назад большую голову на крутой шее. Они поглядели на старика насмешливо, — знали его манеру разговаривать, — на Парашку внимательно. Малый был очень длинен и тонок, с покатыми плечами, с круглым кошачьим лицом, в сером арстантском картузе, а верховой — сухощав, но широк, очень смугл и с блестящими глазами.

— Я ее отца знаю, — сказал он, глядя с седла на Парашку, на ее маленькие ноги, загорелые плечи и грязную сорочку. — Богатый плут... Ступай в печурке либо за образами пощи, — прибавил он строго.

Парашка, не сводя глаз с киргиза, короткого, плотного, все мотавшего тяжелой головой и грызшего желтыми губами слюнявые удила, вскочила с порога, сбегала в избу и вернулась с коробочком спичек. А мещанин тем временем слез со старого, сухого и замаслен-

ного казацкого седла, расправляя короткие ноги. Взяв спички, он молча пошел прочь, повел киргиза к остановившемуся с опущенными головами гурту. Но Парашка навсегда запомнила его пропыленный пиджак, лоснящиеся штаны, заправленные в сапоги с узкими голенищами, грязный ворот вышитой рубахи и то, что все лицо его было, точно порохом, усеяно синеватыми точками, что на смуглых скулах его вились редкие жесткие волосы, такие же редкие, жесткие и смоляные, как и над углами рта. Он взглянул на нее, уходя, и поразил ее силой своих твердых глаз. А старик, верно, заметивший это, сказал ей на прощанье странные слова:

— Ну, вот мы и жители... Прощай, спасибо тебе, красавица. Попомни, что сказал тебе страшный старый босяк: этот вор-мещанин может погубить тебя. Ты на таких-то не заглядывайся...

А потом на парях за дорогой, там, где заночевал гурт, долго пылал в темнеющей синеве вечера желтый жаркий костер. Ночь шла — отца все не было. Сидя на пороге, Парашка слушала, как Володя доит на варке, за сен-

цами, корову, и не спускала глаз с костра. «Вечор наша перепелушка...» — вспомнила она слова старика — и, чувствуя сладкую тоску их, видела темную-темную ночь и робкую перепелку, трюкающую в темном разливе хлебов... Все красней горел костер — и он, этот черноглазый мещанин, который мог погубить ее, был там, еще близко... Наконец ровный, успокаивающий звук отцовской тележки донесся до ее слуха. Она вскочила в темную избу и легла, притворяясь спящей. Отец подъехал к порогу, крикнул Володе; вошел и стал что-то вешать на стену. Зашумели сонные мухи в решетках и ситах возле печки.

— Батюшка! — негромко позвала Парашка.

— Аюшки? — отозвался отец вполголоса.

— Это какой босяк бывает?

— А разуйся хоть ты такая-то, вот тебе и будет босяк.

— Да он не босой. Он в полсапожках.

— Ну, знать, пропился догола. А где ты могла видеть его?

Парашка рассказала о прохожих, умолчав о последних словах старика.

— Знать, бальмашевский гурт гонят, —

сказал он, не слушая толком и перевешивая наборную узду с одного колка на другой. — То-то, я гляжу, костер горит...

— А отчего у него лошадь в крови?

— У кого это?

— У приказчика. Вся грудь в струпах.

— А это оттого, что она киргиц называется, — сказал отец. — Эти лошади, дочка, злые, горячие живут. Вот и секутся, сами себе кровь бросают... И тавро небось есть?

Парашка подумала.

— А какая она?

— А вроде печати... как печать выжжена на ляжке, чтоб видать было, что это не простая лошадь, а из тавра, из косяка киргицкого... Ну, спи, спи, коли поужинала, — прибавил он. — А я в холодную пойду, там закушу...

И, отворив окно, ушел в другую половину. В окно было видно летнее ночное небо в бледных звездах, чуть тянуло свежестью, смешанной с запахом гари потухавшего костра... И, волнуясь от этого запаха, что-то как будто напоминавшего, слушая отца, негромко говорившего под окном с Володей, Парашка загнула в чувстве того жуткого и манящего, что

есть в неизвестных прохожих и проезжих людях, очарованная смутной думой о том, как погубит, как увезет ее куда-то вдаль молодой мещанин.

С тех пор прошло два года; пошел третий. Парашка изменилась. Мало-помалу она заняла свое место в хозяйстве, стала таскать, надрывая свой девичий живот, горшки и чугуны из печки, доить коров, обшивать отца... Но нрав ее менялся мало. Одно лето на нее напала страсть к селу. Она стала наряжаться, гостить у сестры, бывать с девками в хоровах, петь и плясать с ними, притворяясь бойкой. Потом бросила, опять почувствовала себя чужой селу, девкам, Евгении. Евгения тоже навещала ее, — она ходила солдаткой, детей не имела, вдового своего свекра не боялась. Но были обе они молчаливы, да и слишком разные во всем. Миловидную, на вид спокойную Парашку никто бы не назвал сестрой Евгении: та была крепка, плечиста, глядела из-под сдвинутых бровей, сжав губы; странно было видеть ее скуластое, короткое, решительное лицо рядом с нежным овалом нерешительного девичьего лица.

Близок был Парашке лишь отец. Ее любовь к нему росла с каждым годом. Но не простая,

не спокойная была эта любовь.

Она любила отца застенчиво, той обостренной любовью, которой часто любят дочери вдовых отцов. Заменять ему мать, хозяйку, заботиться о нем, таскать для него горшки из печки было для нее радостью и гордостью. Но порой эта радость отравлялась болью — вспоминалась однодворка, хозяйничавшая когда-то в отцовской избе... В том страшном и малопонятном, что случилось между отцом и матерью о чем еще в детстве несвязным шепотом, с чужих слов, рассказывала Евгения, Парашка была на стороне отца. Но порою находило сомнение: да так ли, прав ли он был? — и тогда казалось, что не было на свете человека лучше и красивее матери. Отца Парашка мало видела, а понимала и того меньше, постоянно чувствуя и робость и неловкость в разговоре с ним. Да и у всех он слыл не легким, не простым человеком Чистотою и правильностью черт, тонким станом, бронзовой бородкой и зоркостью зеленых глаз он напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса, жившего когда-то у господ его. Но и крестьянского немало было в его

осторожных манерах, в неуклюжих сапогах, в густых кудрях, разобранных на прямой ряд, в вороте суровой рубахи и сермяжной поддевке. Он умен и приветлив был, даже добр, но все его побаивались: уж очень рассудителен. Приходили к нему из сел, из деревень за помощью. Он никому не отказывал. Он внимательно выслушивал, кивал головою, все приподнимая со лба свои бронзовые завитки. В глаза поглядывал не строго, но пытливо, поддакивал, никогда не перебивая, вполголоса. Лихву назначал скромную. Но ведь лихвой и жил он, а такие люди всегда страшны немно-го.

Вырастая, Парашка худела. В лице ее появлялось то неуловимое сходство с отцом, которое так нежно проявляется у дочерей, любимых отцами и на первый взгляд как будто и несхожих с ними. Многие одинаково затаивали, сдерживали они в себе, многие одинаково воспринимали: как, например, волновал их обоих вид цыганского табора, идущего осенью по большой дороге на низы, к югу!

— А я, мальчишкой, раз было убежал за цыганами, — сказал однажды Устин, усмехаясь.

— Да что же? Одумался? — спросила Парашка.

— Одумался. Без этого нельзя, дочка, — сказал Устин уже без улыбки. — Сгоряча делать не годится...

— Чего делать не годится?

— Да ничего, — ответил он не сразу и поглядел в сторону. — А то кровь в глаза кидается, беду творит...

Она поняла его, оробела и смолкла.

Но не только таинственностью отца, его прошлого, его разъездов и забот, о которых он никогда ни с кем не говорил, окружена была она. Осенью, зимою она много спала. Летом могла не спать хоть три ночи подряд. Любимым местом ее был порог, по часам сидела она на нем, чуть склонив к плечу голову. Далеко куда-то, в счастливую страну, направлялись все те, что порою проезжали, проходили мимо. Смело и внимательно глядя вперед, разметав по плечам свои чубарые от солнца волосы[1], где мочальные, а где темные, в скуфье, в подряснике, широко шагал стороной бродяга, отставляя на ходу свой высокий посох: она провожала его долгим взглядом, хоть

и боялась бродяг, боялась, когда они сворачивали к хутору за подаянием. Ровной рысцой, часто спотыкаясь и перхая, бежала посередине дороги захудалая помещичья тройка — звук дребезжащих рессор, дорожный вид запыленного тарантаса пробуждали в ней тоску, какие-то желания. Гнали овец — она жадно всматривалась в провожатых, вспоминая беду, предсказанную ей... Морями разливались по полям ржи и овсы... Тень ложилась от избы. Впереди, за дорогой, блестящей мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком вечернем свете, лоснилась против солнца, уходившего за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с матовой лазурью небосклона... В эту сторону, томимая зовом степной дали, она смотрела чаще всего.

А любовь — это слово она узнала и почувствовала рано и тоже не просто. Еще в детстве поразило оно ее. Однажды, в жаркий летний полдень, сидела на камнях возле Устинова амбара мещанка из Баева, пьяница и бобылка. Она разложила возле себя спички, жестянку с махоркой, курила и глядела на Па-

рашку, возившуюся в пыли возле нее. «Что ж, отец не прогнал *еще любовницу-то?*» — сильным таинственным шепотом спросила она. И Парашка навсегда запомнила это особое слово и наитием угадала его сокровенный смысл. С тех пор всякий раз, когда случалось ей не вовремя забежать в избу и видеть на колених у отца однодворку, сладким страхом и стыдом обжигало ее. А потом от сестры, от сельских девок стала она заучаться песням. Во всех песнях говорилось о том же, об одном — о любви. И она певала их, но мысленно — так трогали они ее, особенно одна, старинная: «Уснул, уснул мой любезный у девушки на руке, на кисейном рукаве...» Все подруги готовились только к одному — к замужеству, к жизни, к близости с мужем. Рано стало волновать, страшить и ее предчувствие этой близости. Сестра просто говорила: «Батюшка распутный, он опять с кем-то живет. Сто рублей отдам, а дознаюсь!» А Парашка и сама бы не взяла ста рублей за то, чтобы дознаться о любовнице отца, хотя думала о ней дни и ночи. Сестра, когда угнали ее мужа в солдаты, вскоре пришла однажды на хутор.

«Батюшка дома?» — глухо крикнула она, подойдя к замерзшему окну. Потом вошла, села на лавку, стала есть хлеб и все говорила, что она на минутку, все поглядывала на входившего и выходявшего Володю, высокого худого мужика. Он, роясь на лавке в веревках и вожжах, картаво бормотал: «Сто ж не раздеваешься?» А сестра медленно мотала головой, закутанной в пеньковый платок: «Я на минутку...» Была она в промерзлых лаптях, в красной юбке грубой шерсти, в сермяжной куртке, туго застегнутой на полной груди, и крепко пахло от нее, крепкой, здоровой бабы, избяным дымом и ржаным хлебом, который она не спеша жевала. «Ох, что ж это я сижу-то!» — говорила она. И вдруг поднялась и решительно вышла, но не домой, а в сени, к Володе. Парашка кинулась к двери и замерла, прильнув к ней ухом. Бежали минуты за минутами, все гуще сеял кто-то ночную муть в избе, и ни звука не слышно было за дверью. Но Парашка, казалось, все видела, все слышала...

Заменив отцу мать и хозяйку, она стала чувствовать себя взрослой и порою заводила с ним беседы.

Раз зимним вечером он перебирал возле лампочки, коптившей на столе, какие-то истертые бумажки, вынимая их из-за пазухи, из кармана поддевки. Он напряженно соображал что-то, шевеля губами, и писал огрызком карандаша, ложась грудью на стол, отодвигая рукав и долго ерзая по бумажке, перед тем как вывести цифру. Она, сидя возле печки, пряла: сучила, доила нитку левой рукой, а правую отставляла — ловко пускала до самого пола волчок веретена. В пестреньком ситцевом платье, с раскрытой головой, с опущенными ресницами, она была хороша: она сама чувяла это по тем странным и ласковым взглядам, что порою, отрываясь от работы, кидал на нее отец. Она сидела на скамье легко и спокойно, чуть раздвинув округлые колени, с мягкой силой нажимая носком левой ноги на приступку прялки, и жужжала колесом.

— Батюшка, — сказала она вдруг, — ты все-

гда был такой красивый?

— А что? — спросил он, по своему обыкновению, вполголоса. — Всегда. А что?

— Чего ж тебя мать не любила?

— А кто тебе это сказал?

— Да уж я знаю, — ответила она загадочно.

Он помолчал, стал прятать бумажки за пазуху и застегивать крючки поддевки, мотнул головою, откидывая со лба завитки волос.

— Ты того, дочка, не слухала бы, — сказал он негромко.

— Ты, говорят, убил ее... За что? За любовника?

— И этого не надобно говорить, — сказал он еще тише. — Вот ведь я ни о чем не пытаю тебя.

Она подумала.

— Да меня что ж пытаться? Я вся наружи...

— Толкуй! — сказал он. — Ты вся в нее.

Она покраснела.

— Ан в тебя... Я тебя в свете ни на кого не променяю!

— Променяешь, дочка...

Она вспомнила мещанина, провожавшего овец, летний вечер, который казался теперь

таким далеким и прелестным, старого, желтозубого, но горячего киргиза, его сильную грудь в рубцах засохшей крови... А он продолжал задумчиво:

— Рано тебя никому не чаю отдать. Для тебя, дочка, для тебя одной с утра до вечера бьюсь. Буду ждать, высматривать человека хорошего, нужного.

— У тебя ж есть любовница, — прошептала она.

— Все пустое, все пустое, — ответил он, не повышая голоса. — Все тебе, это постороннее. С отцом стыдно об этом балакать...

Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал в волосы. Сквозь тонкую кожу его проступил румянец, зеленые глаза горели ярко и нежно. Она успела взглянуть в них, когда он, обернувшись, пошел вон из избы, и заплакала от какой-то непонятной радости и еще более непонятного горя. Ах, да кто ж мог быть лучше его!

Она худела. Но округлялись ее руки, ноги, приподнялись маленькие груди, глянцевище и гуще стали волосы. Купаясь, она стала стыдиться своей наготы... Скоро, скоро станет она

невестой, будут приезжать сваты к отцу, узаконится ее право любить и выбирать... хотя, конечно, никогда, ни за кого на свете не выйдет она... Сестра сделалась откровеннее с нею, — это льстило ее самолюбию. Сестра открывала ей тайны любви, она ждала мужа и говорила, что никак не дождетя его. Хотелось и Парашке поговорить о себе, о своих думах, о своей истоме. Хотелось намекнуть, что и про Володю она знает... Провожая сестру, она долго стояла на пороге. Пели петухи — она слушала их, закрывая глаза. Дремал сумеречный мартовский туман над серыми снегами полей — ей казалось, что уже слышно в тумане карканье первых грачей. Убегала в туман, пропадала в нем зимняя дорога — и влекла к себе, тянула вдаль. Капали капли, куры стояли под ними, тоже дремали — и вдруг начинали тревожиться, кудахтать сквозь дрему. С веселой притворной яростью играл, взвиваясь на цепи под амбарами, жарко дышавший пес... Резко вздрогнув, она вбежала в избу.

Но в теплой избе только Володя делил ее одиночество. Володя, живший уже пятый год,

был страшен и противен ей — с того самого вечера, когда Евгения вышла к нему. Но ведь она так часто оставалась наедине с ним... Она знала, что никогда не решится он тронуть ее, — отец убил бы его, — но ведь думала же она об этом... И сладость тайных дум ее даже увеличивалась страхом и отвращением к Володе. Он наружно был даже недурен, — пожилой, но стройный, легкий, как малый в двадцать лет. Иногда она пыталась разговаривать с ним о чем-нибудь, не касающемся хозяйства, о селе, о девках, о ребятах. Он задумывался. Он бросал веревку, которую вил, сидя на конике, вертел сигарку. Серое худое лицо его склонялось, прядь серых волос падала на узкий лоб — он был красив. Но вот он открывал рот — и сразу превращался в дурака. О чем бы она ни заводила речь, он сводил на то, кто у кого живет в работниках и, главное, сколько жалованья берет.

— Хоросую, хоросую залованью получает, — бормотал он косноязычно, и от бормотанья усы его делались слюнявыми.

А когда дул южный весенний ветер, съедая таявшие снега, и она делалась тревожнее, он

видел и чувствовал это. Он входил в избу, как будто по делу, вешал или снимал обротъ с деревянного гвоздя в стене, нарочно мешкал, начинал шутками: «Где-й-то тут обротъ покрепче, пора тебя обротать, к бычку вестъ...» Она странно и звонко смеялась. Он проходил мимо, внимательно посматривая на нее. Она встречала его глаза широко раскрытыми ждущими глазами. Казалось еще минута, и она будет в полной его власти. Но, как только он протягивал руки, брови ее резко вздрагивали, лицо искажалось и вспыхивало. Она вскакивала и с той внезапной грубостью, которой так часто ошеломляют мужчин девушки, тонко вскрикивала, хватаясь за что попало:

— Тронь только, всю морду расшибу! Батюшке скажу, только на порог ступит! Духу твоего тут не останется, побирушка, черт!

IV

Пришла весна. Серый снег съедали ветры и туманы, пегими стали мокрые поля. Кончилась Страстная неделя, наступила великая суббота. В пасмурный вечер Парашка поехала с отцом в село, к церкви, уже на телеге. Неприютно гудели голые лозинки на окраинах села, из-за них, в неверном вечернем сумраке, глядели сине-белесые тучи, грозя дождем, делая горизонты зловещими. Но в ледяном ветре, что дул из-под туч, была весна, свежесть. Лицо Парашки горело и от ветра, и от румян, и от волнения, — от того, что она искупалась, надела все чистое, нарядилась и села в новую телегу, рядом с красивым, богатым отцом, который правил дорогой сытой лошастью.

На широкой улице было грязно, лежал горбами лед. Вечер в селе, на улице, вдоль которой уже горели огни по избам, уютным, но бедным и чужим, казался еще нелюдимее. Но и в этих ранних огнях, и в хлопьях снега, которые внезапно погнал ветер вдоль улицы, странно убеляя ее грязь, ее темные крыши, —

во всем был весенний праздник. Жмурясь от снега, Парашка и Устин нагнули головы. Изредка Парашка взглядывала исподлобья — и сердце ее заходило от непонятной радости при виде милого отцовского лица, его тонкой кожи, помолодевшей от ветра, блестящей бороды в крупных снежинках и мокрых ресниц... И вдруг кто-то громко крикнул над ними:

— Ай ослеп? Держи правее!

И, раскрыв глаза, Парашка увидела высокую лошадь и телегу с передком, а в телеге — поднявшего ворот чуйки и тоже согнувшегося от ветра и снега мещанина. Он взглянул на нее — и она мгновенно признала его.

— Чего кричишь? — ответил Устин веселым криком. — Завтра праздник большой!

— Виноват, Устин Прокофич, — отозвался мещанин. — Ничего не видно....

И телеги разъехались.

Долго помолчав, Парашка спокойно спросила:

— Ай ты его знаешь?

— А кто ж его, плута, не знает! — ответил Устин. — Он у Бальмашева на хуторе жил, те-

перь свое дело затевает, кружится, как вор, хочет в селе лавку открывать...

Парашка запихнула лицо шалью, задержала дыханье... Сердце ее колотилось, лицо стало серьезно...

А на Святой мещанин приехал в гости к Устину. За три года он ничуть не изменился, только беспокойнее стали его глаза. И одежда на нем все та же, только чист был ворот рубашки. Она узнала, что зовут его Никанором, из его разговоров с отцом поняла, что он еще гадает: не уехать ли «на низы», в Ростов. Он пил с Устином чай и водку. Она не вникала в то, что он говорит, слышала только звук его четкого голоса. Не поднимая глаз, она, набеленная, нарумяненная сидела в углу и грызла подсолнухи, как бы не замечая гостя. Не замечал, или делал вид, что не замечает, и он ее. Прощаясь, он протянул ей руку. Она не привыкла касаться чужих рук, подала ему свою неловко — и побледнела: и польстило ей это рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного сближения их.

После этого он долго не показывался. Она по целым дням стояла на пороге и нетерпели-

во, с настойчивостью и требовательностью подростка, ждала его. Ей казалось, что он обязан, должен теперь приезжать и продолжать то, что начал, хотя и понимала, что он ничего не начинал. «Как только он приедет, — думала она, — повернусь и уйду, покажу, что не нуждаюсь им...» Но прошел месяц, завернули майские холода с дождями — его все не было. Накануне Николы она почему-то особенно ждала его, так томилась желанием видеть его, что, казалось, не может не исполниться ее желание. Спать она легла рано и плакала так зло и горько, что намокла вся ее подушка, но так беззвучно, что отец, спавший в двух шагах от нее, и не подозревал о ее слезах. Он только слышал, что она перевертывалась, и порою спрашивал странным и тревожным голосом, что это она не спит.

Утром отец уехал куда-то. Она увидела стекла, залитые дождем, и почувствовала, что уже ничего не ждет, ничего не хочет, что просто ей приятно вставать, прибираться избу, топить печь, заниматься обыденными делами. К вечеру она нарядилась, воткнула два сухих василька в косу, обвитую вокруг головы, и

вздумала поставить самовар.

Дождь перестал. Все было мокро — и зеленая дорога, и зеленые хлеба, за которыми влажно-синими стенами стояли тучи, на все бросая тень свою. Самовар кипел, краснел решеткой в темных сенцах. Она вышла из избы с закопченным чайником в руке, напевая: «Страшно итить к суду божьему, золотой венец примать...», и стала ждать, пока самовар раскипит еще больше. Со двора перешагнул порог Володя, свежо пахнувший дождем и затхло — мокрым армяком. Но только что хотел он подойти к ней, как возле рамы двери показалась голова чьей-то высокой лошади. Володя твердо прошел дальше, отворил дверку на варок и скрылся, а она замерла, не поднимая глаз.

— Здорово! — смело сказал мещанин, появляясь на пороге. — Ловко попал, прямо под чай...

И, засмеявшись, снял и отряхнул картуз. Черная поддевка его лоснилась от дождя. Смуглое лицо, точно посыпанное порохом, было мокро.

Она не ответила и вспыхнула: он говорил

теперь совсем не тем тоном, что при отце. Помолчал и он, — слышно было, как спросонья заворковали в темном углу под крышей голуби, — потом подошел к ней и, глядя на самовар, спросил:

— Отца нету?

— Нету, — ответила она тихо, склоняя голову, на которой синели два цветочных венчика.

— Жалко, — сказал он и похлопал кнутом по голенищам. — Так ты одна и спасаешься?

— Так и спасаюсь, — ответила она, слабо улыбнувшись.

— Ну, да ничего, в другой раз заеду, — сказал он. — Благо придирка есть... Я прямо сам не свой, как соскучился по тебе, — добавил он.

Она помолчала.

— Не веришь? — сказал он, осторожно обнимая ее. — А я правду говорю. Я в тебя влюбился еще в тот раз, когда гурт гнал. А увидел тебя в селе, ослеп от радости, чуть в буерак не заехал. Я прямо почувствовал: быть роману промежду нас, а не то мне прямо пропадать!

— Я эти побаски слыхала, — с трудом отве-

тила она. — Пусти, — бесстрастно сказала она, локтем отводя его руку.

Но он не пустил, он знал, что еще не слышала она этих побасок. Он крепче обнял ее и горячо заговорил:

— Дай бог мне без покаянья помереть, если брешу! Не видать мне отца-матери...

Она молчала. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Он воровски оглянулся, нагнул голову, нашел ее губы и откинул ее лицо назад. У нее перехватило дыхание от насильственного и долгого поцелуя. Потом он с притворным отчаянием махнул рукой и пошел к порогу.

— Ну, теперь шабаш мне! — сказал он, садясь в телегу. — Потерял я свой спокой навеки...

И шибко погнал высокую лошадь по ярко-зеленой траве на тучу, тень которой уже мешалась с сумерками.

Скоро он скрылся за перевалом, и стало так тихо, что как будто в двух шагах раздавался бой перепелов, перекликавшихся в самых дальних хлебах, за чуть синевшим леском.

Он заезжал еще два раза, но все не вовремя: Устин был дома. И она притворялась, что не замечает его, пока он деловито болтал с Устином. От напрасного желанья увидеть его хоть на минуту глаз на глаз она ходила как пьяная.

Вернулся солдат, муж Евгении. С женой, отцом и с мачехой он приехал Петровками в гости к Устину на толстой, низкой соловой лошади, в новой телеге, крытой новым войлоком и по колесам облитой свежим коричневым дегтем. Отец солдата, коротконогий мужик в черной бороде с сединой возле рта, странно веселый человек, не стыдясь женатого сына, женился в третий раз на хромой бабе с дерзким взглядом и острыми грудями. И всем было неловко за него, да и сам он был весел и разговорчив, вероятно, от неловкости. От неловкости неумеренно пили за обедом. Ели тоже неумеренно, угощая друг друга с излишней настойчивостью, говорили без толку, чаще всего загадками, намеками и пословицами. Парашка весь обед боялась, что вот-вот

разразится ссора. Все быстро захмелели, кроме Евгении, которая только бледнела от водки и грубо, властно вырывала стакан у своего пьяного солдата, притворявшегося злобным и серьезным. С губ Устина не сходила ядовитая усмешка, когда он вполголоса, но твердо, перебивая все объяснявшегося ему в любви солдата отца, говорил ему пословицы и загадки, намекая на бесстыдство троюженцев. Хромая была дерзка и криклива, она тоже так и сыпала пословицами, обрезая Устина. Володя пытался перевести беспорядочный и тревожный разговор на свое любимое, на беседу о работниках и жалованье. Его никто не слушал. Он неприятно раскраснелся, стал со слезами кричать песни. Устин молча взял его за плечи, подвел к двери и вытолкнул вон. Он ушел на варок и, свалившись в сани, заснул мертвым сном. У Парашки, измученной ожиданием ссоры, как от угара замирало сердце.

После обеда пили чай и водку перед избою, в тени, на зеленой траве. Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги гармонию, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую. Солдат,

с помутившимися глазами, в расстегнутом мундире, сидел на скамье возле стола и раскачивался, каждую минуту готовый упасть. Он долго не понимал, чего требует отец. Наконец понял и бешено, отрывисто задергал «кабы курочка бычка родила...». Троеженец подсунул руки под черный армяк за спину, присел, раскорячился, забил сапогами в землю. Ударив в ладоши, сделала перед ним выходку хромая, затрясла своими козьими грудями. Лицо Евгении окаменело от сонной злобы. Устин облокотился на стол, запустив тонкие пальцы в свои бронзовые завитки, стиснув зубы. В углах его губ так и застыла ядовитая усмешка. Сумрачным весельем играли глаза.

— Дочка! Поди сюда! — крикнул он строго, не в лад со словами сдвигая брови. — Поди поцелуй меня!

— Ты пьяный, — ответила Парашка. — Глаза б мои на тебя не глядели!

Губы ее задрожали. Она повернулась и ушла за избу. За избой слепило низко опустившееся солнце. Блеснув крыльями, с дубков слетели, пали в рожь, в неглубокие лужки, заросшие цветами, две горлинки... Как ти-

хо было тут после гама пьяных! Простор хлебных полей был к закату неоглядный, золотой, счастливый... Парашка села на межу и дала полную волю слезам.

Наплакавшись, она решила вернуться к избе и, с помощью сестры, прекратить это безобразие — растащить пьяных, убрать водку, самовар. Была уже ночь — светлая, странная. Высоко на небе громоздились огромные матовые облака — небо казалось больше и величественнее, больше и зеркальнее казалась и высокая луна, сиявшая среди них. По широкой дороге, по хлебам пятнами проходили тени. Грядка телеги, стоявшей перед избою, и солома в ней серебрились. В телеге лежал отец солдата — боролся и ссорился с пьяной женой. У стола валялась опрокинутая скамейка. Самовар блестел медным боком, тускло блестела лужа на столе: кто-то выдернул кран из самовара. Под навесом амбара, как будто радуясь то сиявшей, то таявшей луне, играл, взвивался и давился на цепи жарко дышавший пес. Парашка заглянула в избу. Солдат сидел за столом, облокотясь на обе руки и положив на них ошалевшую голову. Он что-то

бормотал. Мужики сонно и угрюмо шумели в решетах и ситах, развешанных на стене возле печи. А солдат что-то кому-то рассказывал, хвастался, что он, в силу своего значения, «присвоит» к какому-то барину какого-то Якова Иваныча...

Но где отец, Евгения? Парашка повернулась, вышла в сенцы, на порог. Высокая теплая луна ярко сияла среди матовых облачных громад. Против порога стоял, держа в одной руке повод, в другой кнут, мещанин, сзади него — его высокая лошадь под седлом. Лицо его от лунного света меняло выражение.

— Отец твой совсем готов, на девятом облуче, — с усмешкой сказал он онемевшей от страха Парашке. — Сейчас встретил во ржах: пьян хоть выжми, буровит — «в село иду», а Евгения его назад тащит...

Парашка молчала. Он бросил повод, взял ее ледяную руку в свою, горячую и крепкую, втянул ее в темные сенцы. Она вошла, упираясь. Он прижал ее, тупо глядевшую через его плечо на дымчато-зеленую полосу лунного света, падавшую сквозь дыру крыши в темноту, притиснул к холодной каменной стене и

стал целовать ее лицо, приговаривая:

— Погоди, за ради бога погоди... «Энтих нету уж дён, что летели стрелой, что любовью нас жгли, что палили огнем...»[2] Я памяти по тебе лишился! Увезу тебя в Ростов, повенчаюсь там с тобой, вдаримся мы в степя, — на одних лошадях тысячи наживем... Лучше всякой модистки будешь наряжена!

Она вспомнила его таким, каким увидала впервые, — среди овец и собак, на старом, тавреном киргизе, — обняла его за шею одной рукой, вся задрожала от счастья и нежности, спрятала лицо на его груди, Он приподнял и положил ее на солому.

Придя в себя, она долго сидела на соломе в этом темном углу. Мещанин пытался целовать ее, что-то торопливо говорил. Она оттолкнула его, замотала головой, показывая, что не слушает. Он воровски выглянул из сенец, быстро сказал, что приедет завтра ночью, что она должна выйти к нему под дубки за избой, что у него есть большое дело к ней... «Приду, приду», — ответила она. «Смотри же не обмани», — сказал он неестественно, понимая, что она не придет. Слышно было, как звякнул он стремянем, поднимаясь в седло, как затопталась на месте и тронула лошадь... Она то глядела на полосу лунного света, то опускала глаза.

Когда мещанин, обернувшись, сказал ей: «Смотри же, не обмани», — она вдруг увидела в окошечке, пробитом в дверке на варок, шапку и лицо Володи. Это было так страшно, как если бы сама смерть заглянула в сенцы. «Да теперь все равно!» — подумала она. Сердце ее билось так сильно, что трудно было дышать. Высоко поднимая и опуская грудь, она

прижимала к нему руки. Но все это не мешало ясности мысли. А мысль была проста: она пропала! и так страшно, неожиданно, как бывает это во сне!

Несколько дней после праздника Устин хмурился: стыдно, дюже напился. А она изнемогала от слабости, разбитости во всем теле и желания лежать с утра до вечера. Но нужно было ходить, быть бодрой и покойной, даже шутить за обедом с отцом и с Володей. Думала же она с утра до вечера все одно и то же.

Устин уезжал и приезжал. Казалось, что, посиди он дома, никуда не спеша, не волнуя ее своими отъездами и приездами, она бы пришла в себя и выдумала бы какой-нибудь исход, какое-нибудь подобие спасения. Было страшно, что он, посидев дома и приглядевшись к ней, все поймет; но и хотелось, остро хотелось порою, чтобы он понял: тогда бы само собой как-нибудь развязалось все это. Казалось, что, будь дождливо, сумрачно, было бы легче. Но настали дни светлые, знойные и бесконечно-долгие; близилась рабочая пора, стали поспевать, желтеть моря отяжелевших и подсохших хлебов, — и некуда было

скрыться от света и зноя. После того нечаянного праздника, что нарушил будни в хуторе, хутор стал как будто еще молчаливее, и напряженная тишина стояла вокруг него в желтых и светлых полях.

Она по целым дням сидела на лавке возле стола в жаркой и пустой избе, глядя на несметных мух и мельчайших новых мушек на горячих мутных стеклах. Володя ничего не делал, но, как всегда, имел озабоченный вид, отыскивал какие-то пустяковые занятия и входил в избу. А входя, был прост, как будто ничего не случилось, только прекратил любовные попытки. Что это значило? Верно, он ждал какой-то удобной минуты и надеялся, что теперь уже не даст промаху. И Парашка горько усмехалась: вот дурак! Взял бы лучше да рассказал отцу все, что видел!

Однажды в полдень, когда в мягком светосном блеске млели в высоком млеющем небе, над хлебами и нагретой пыльной дорогой, чуть видные сияющие облака, возле амбара остановилась пара лошадей. В тележке сидела полная барыня, которая, как знала Парашка, много была должна Устину. Вид у нее

был усталый, озабоченный, на сером лице и на крыльях носа пыль. Она задумчиво говорила все одно и то же, что не застала Устина, томительно-долго не уезжала. Кучер исподлобья глядел на пристяжную, которая зубом чesала свою отставленную ногу, барыня — не то в землю, не то себе в переносицу. Потом, прищурившись, стала рассматривать похудевшее лицо Парашки, ее позеленевшие прозрачные глаза.

— Ты здорова? — спросила она вдруг.

Парашка просто и твердо ответила, что здорова, но, когда барыня уехала, все смотрела в зеркало, сидя на лавке у окна, и замирала от страха. Она очень изменилась, это ребенок мог заметить — как же не замечал отец? Но вот-вот и он заметит: сразу поймет все, что случилось, — и что тогда?

Думая, она охватила всю свою недолгую жизнь. Оказалось, что она даже и не подозревала прежде, в каком наваждении жила она, как много думала все об одном и том же, сколько смутных пленительных картин каких-то дальних счастливых городов, степей и дорог дали ей думы, как нежно любила она

кого-то... Сделав свое страшное дело, Никанор убил и ее и себя. Он, этот коротконогий вор, вдруг стал живым, настоящим — и ненавистным ей. Не могла любить и никогда не любила она его. Теперь без стыда, отвращения и отчаяния нельзя было вспомнить об этом человеке. Сбылось предсказание страшного босяка! Она чувствовала себя как бы зараженной какой-то постыдной неизлечимой болезнью и навеки отделенной от отца бездонным провалом.

Но, думая, тихо плача, снимая с головы платок и разглаживая его, она незаметно для самой себя давала волю сердцу — и мысли ее туманились. Она вспоминала, как любила, ждала кого-то — и любовь эта возвращалась, и она не могла найти себе места от тоски по прошлому, от жалости к себе, от нежности к тому, кого она, казалось, так долго любила. Она думала об отце, которому говорила когда-то: «Я вся наружи перед тобою», — и готова была закричать, вскочить в холодную половину, где он жил, ночевал, отдыхал после обеда, и кинуться к нему под ноги, чтобы он истоптал, убил ее сапогами, лишь бы утоли-

лась ее мука о невозвратном, прежнем времени. «Для тебя, дочка, для тебя одной», — вспоминала она слова его и плакала, изнемогая от сладострастия горя и слез.

Как-то вечером Устин с Володей поехали в село, повезли отбивать косы. Вечер был ясный, покойный, равнины спелых ржей за блестящей в вечернем свете муравой по большой дороге розово желтели, черные стрельчатые касатки, мелькая розовыми юными грудками, проносились мимо открытого окна, у которого сидела Парашка. Вдруг на опушке хлебов, во ржи за дорогой, выросла короткая фигурка Ннканора: он, видно, давно сидел в хлебах, прятался и вдруг встал, выпрямился. Она в ужасе отшатнулась от окна. А он быстро пересек сухие колеи и вошел в избу.

— Здравствуй, — сказал он негромко, оставиваясь у порога. — Никого нету?

— Никого, — ответила Парашка, чуть шевельнув побледневшими губами.

— Дело есть. Пойдем за избу, под дубки.

Он говорил, как муж, как близкий, как власть имеющий, как человек, с которым у нее уже есть нерушимая связь и тайна. И она

молча встала и пошла.

Под дубками он твердо, кратко, оглядываясь, сказал ей, зачем пришел: она должна помочь ему свести с отцовского двора двух кобыл и бежать с ним в Ростов. Она тупо ответила, не поднимая глаз:

— Хорошо.

Солнце опускалось за усатыми колосьями, среди которых они сидели на меже, и осыпало остинки колосьев золотистой пылью. От большой дороги, с юго-востока чуть тянуло мягким ветром близкого июля, рабочей поры, когда так ровна и матова сухая синева неба, и мягко жужжали сухие, жесткие подкрылия опускающихся на колосья и качающихся на них рыжих хлебных жучков.

Никанор говорил так: ровно через неделю Устин уедет в ночь на Тихвинскую ярмарку, возьмет и Володю с собой, а вернется только поздним вечером; все это он, Никанор, доподлинно знает, так как обещал Устину тоже быть на ярмарке и помочь ему продать жеребца. Значит, в обеда, когда ни души не будет в полях, можно спокойно вывести кобыл со двора, привязать их к телеге и гнать что

есть духу по проселкам, особенно глухим пред рабочей порой, в сторону Лебедяни. Ночуют они в таких артебах, в таких заповедных логах среди хлебов, куда ни один черт не заглянет. Чем свет — дальше. А в Лебедяни есть верный, золотой человек: ему-то они и сбудут кобыл за три, четыре сотни, и составится тогда у них больше пятисот рублей, на которые они и до Ростова добьются, и дело начнут, давно уже обдуманное.

— А какое? — спросила Парашка.

— Ну, ты по этой части еще тупорыла, — сказал Никанор с усмешкой.

— Лучше бы ночью, — сказала она серьезно.

— Да что ты! — насмешливо сказал Никанор, делая папиросу из газетной бумаги.

И вздохнул:

— Никак, девка, не выходит. Уж слушай мое готовое.

— А скорей нельзя? — спросила Парашка, разглядывая свои маленькие босые ноги.

— Скоро делают, слепых рожают.

Она помолчала, и в сердце у нее опять задрожала злоба против него. Ждать целую

неделю! Как он не чувствует ее муки! Ах, да не лучше ли взять да повеситься вот на этом дубке? — подумала она без слов и стала крепко кусать губы, удерживать дрожь мускулов на лице, но не выдержала и заплакала.

— О чем ты? — спросил удивленный Никанор.

Она не ответила и заплакала пуще.

— Тебе говорю ай нет? — грубо крикнул Никанор.

— Отстань! — крикнула она в ответ с такой ненавистью и бешенством, что Никанор даже отодвинулся от нее.

— Ну, будя, будя, — сказал он смущенно и хотел обнять ее. Она оттолкнула его локтем. Он все-таки насильно овладел ею.

VII

Целую неделю, до самой Тихвинской, Устин, как нарочно, сидел дома. Приходила Евгения — жаловаться на своего солдата, оказавшегося после службы совсем дураком и пьяницей, и на свою хромую свекровь, злую и распутную, помыкавшую свекром. Но Парашка не слушала ее. Она уже ничего не думала, ничего не чувствовала — тупость, какая-то обреченность владели ею. Спала она эту неделю очень много — и днем и ночью. Просыпаясь, вскакивала, поражаясь мыслью о том, что вот-вот предстоит ей.

Наконец пришла последняя ночь.

Было уже поздно, но она не спала, лежала на нарах. Так же, как в темной избе, видела в окно небо в бледных звездах, слушала, как что-то говорил под окном отец... Потом дверь избы бесшумно распахнулась.

— Дочка! Спишь? — негромко спросил он, останавливаясь у порога.

— Нет... — с трудом пробормотала она.

Но он не заметил странного звука ее голоса — и двинулся к нарам. Найдя ее в темноте,

он сел возле нее и положил на ее обнаженное плечо руку.

— Дочка, что с тобою? — тихо и таинственно сказал он, наклоняясь к ее лицу, — и она почувствовала его бороду, тепло его дыхания и приятный, хлебный запах водки. — Ты не таись, — еще тише сказал он, обнимая ее и царапая плечо сермягой поддевки.

Сердце ее затрепетало. «Батюшка! — со слезами хотела крикнуть она — и одним криком этим выразить всю свою муку и беспомощность. — Батюшка, — хотела она сказать, — он погубил, опоганил меня, я не его, я не знаю, кого люблю, а тебя в свете ни на кого не променяю...» Но он еще ближе прижался к ней и вдруг зашептал совсем на иной лад, заискивающе, слащаво, путаясь:

— А гостинчика, обновочки хочется? Я в город, на ярмарку еду сейчас — что тебе купить? А? Говори-ка скорей, не бойся...

И дрожащей рукой скользнул по ее спине. И, пораженная, она так рванулась из-под него, что он чуть не упал с нар. Вскочив на ноги, она забилась в угол, протянула вперед руки, а он отступил и забормотал:

— Что ты? Что ты? Да ты что подумала-то?

— Уйди, — едва слышно выговорила она, чувствуя свои оледеневшие губы. И в радостном изумлении, в светлом восторге испуга, отчаяния, подумала:

«А-а! Так вот оно что!»

Он постоял и вышел. Она слышала его неестественно звонкий голос на дворе, слышала скрип телеги, окрики на привязанного к ней и шарахавшегося жеребца, слышала, как они с Володей сели и тронулись... С кошачьей зоркостью глядя в темноту избы, она долго стояла на нарах в глубокой тишине степной ночи, обступившей ее со всех сторон. Потом осторожно легла и сразу заснула...

А день настал глухой, палящий, ослепительный, хотя блестящие горизонты были от зноя мутны и белесы. Она очнулась чуть не перед обедами. Солнце било в тусклые, засиженные мухами окна, наполняло избу жаром и светом. Заспанная, не умываясь, с тупой и тяжелой головой, она босиком выскочила на порог, под солнце, стоявшее уже очень высоко, и сухой жар так и облил ее всю. Море спелых хлебов как будто сдвинулось, теснее об-

ступило и двор и дорогу, тускло блестящую глубокой пылью. И этот песочный цвет хлебов, низко склонивших тяжелые колосья и застывших в тишине, в густом горячем воздухе, давал впечатление отчаянной духоты.

Она растерянно оглянулась и попыталась вспомнить: что это она должна сделать сейчас? То, что за ней сейчас приедут и что надо будет после этого поскорее уезжать, скрываться, она твердо помнила. Но как же это она не простилась с отцом, не сказала ему того, что придумала ночью и что надо было сказать? Правда, после вчерашнего, с отцом можно было и не прощаться и ничего не говорить, но как же она не подумала, что взять с собою, ничего не собрала, не умылась, не обулась? Она стояла на зное с открытой головой, держала руки под мышками, чувствовала жар на своих открытых плечах, касалась босой ногой горячего камня у порога. Белый песок с высунутым языком лежал в короткой тени под амбарами. Она со страхом глядела то на него, то на хлеба, на проселок...

И вдруг во ржах, на тускло-серебристом небосклоне, появилась дуга и высокая худая

лошадь. Никанор сидел на грядке телеги, сдвинув на затылок картуз, и усердно дергал вожжи. Рысью, поднимая пыль, перерезал он большак и, гремя, подкатил к самому порогу. Глаза у него были расширены, черное от загара лицо все в поту, вид удивленный,

— Что же ты? — быстрым шепотом спросил он, соскакивая с телеги и не замечая, что Парашка разута и почти раздета. — Все готово? Уехали?

Она, не отвечая, дико глянула на него, спрыгнула с порога, блеснув голыми ногами, и направилась к воротам, на варок[3]. Навалившись на них плечом и чувствуя, что и ворота горячи от солнца, со скрипом распахнула обе половинки. По глубокому пересохшему навозу пошла к темному деннику, где стояли кобылы. Никанор въехал за ней, сделал круг, бормоча: «Да что ж ты не оделась-то?» — На двери денника висел большой замок. Парашка обернулась.

— Ключа у меня нету, — сказала она, глядя на Никанора большими, стоячими, прозрачно-зелеными глазами.

Никанор оглянулся, увидел голыш, на ко-

тором точили топоры, схватил его в обе руки и с навесу стукнул по замку. Замок отвалился вместе с петлей — и Парашка, не дав ему упасть, подхватила и крепко зажала его в своей маленькой загорелой руке. Еще больше сдвинув на затылок картуз, мокрый от пота, Никанор с тяжелой оборотью в руке вошел в денник и склонил голову к плечу, вглядываясь в сумрак, где, отшатнувшись, изогнулась и прижалась к стене гнедая кобыла, красавица с лиловыми глазами. Парашка, сделав большой шаг, неумело, но изо всей силы ударила его в висок замком. Он коротко споткнулся и упал, ткнулся головой в навоз. Парашка подскакнула, как стрела метнулась вон из денника и понеслась к воротам. Лошадь Никанора, стоявшая у ворот, всхрапнула — и вместе с нею вылетела на дорогу. Пыля и гремя телегой, она подхватила в одну сторону, к юроду, в белесую блестящую даль за перевалом, а Парашка — в другую, через дорогу, ко ржам. На бегу обернувшись, она вдруг остановилась: из ворот выскочил, без картуза, весь облитый по лицу и по рубашке алой кровью, Никанор и, почти падая, уда-

рился догонять свою обезумевшую лошадь. Парашка взвизгнула и нырнула в душную гущу колосьев...

Многие, что ехали в этот день по проселкам, видели ее, быстро бежавшую целиком, без дорог, по хлебам. Порою она приседала, выглядывала — и опять бежала, мелькая среди желтых колосьев белой сорочкой и раскрытой головой.

Поймали ее только через пять дней. И, отбиваясь, она проявила страшную силу, искусила трех мужиков, крутивших ей руки новой вожжовкой.

Капри. Март. 1913

Комментарии

Рассказ впервые напечатан в сборнике «Слово», М., 1913, № 1. Заглавие в черновой рукописи — «Большая дорога». В белой рукописи был эпиграф — видоизмененные строки из собрания фольклориста и публициста П. Киреевского:

*Жарко камению самоцветному
На крутой горе против солнушка.
Жарко в тереме свеча горит —
Жарче сердце воску ярого.*

В рукописи рассказ заканчивается словами о том, что Парашку мужики до обморока били «сапогами и повезли в Елец, в больницу».

Много позднее у Бунина были планы сделать из рассказа драму. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 25 июля / 7 августа 1921 г.: З. Н. Гиппиус «занята тем, как из рассказа „При дороге“ сделать пьесу. Все уговаривает Яна <...> Вечером, после обеда, они около часу разговаривали на эту тему <...> З. Н. сове-

тует вывести на сцену и любовницу отца Парраши. Ян стал выдумывать, какая она должна быть, какой у нее муж. „Она может быть лавочницей, мало говорящей, но властной, с густыми волосами и прекрасной шеей. Муж у нее маленький, чахленький старикашка. Сидит на полу вечером, разувается, стучит сапогом и говорит: „Да, нонче все можно“ (намекая на связь жены). „Да, — повторяет она спокойно, — все можно. Только бы лучше об делу подумай!..“ Она уже лежит в постели. З. Н. не понимает, что в деревне есть свой бон-тон, что женщине заехать к любовнику почти невозможно».

Некоторые лица и обстоятельства, изображенные в рассказе, Бунин уяснил из разговоров с Н. А. Пушешниковым; в этом разговоре и зародилась у него мысль написать рассказ. Он отметил в дневнике 28 мая 1912 г.: «Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужицкую избу; босяк — знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов)...»

В рассказе «При дороге» Бунин сумел извлечь правду жизни из самых будничных ее явлений, обнажить таившийся в ней ужас серых и однообразных будней. И. С. Шмелев писал Бунину 21 сентября 1913 г.: «...прочел я рассказ ваш „При дороге“, не дотерпел. Чудесно, любовно, чисто, целомудренно...» Осквернили тело девушки, но она «чиста, как чиста остается бегущий ключ, в который проходом сплюнул пьяный похабный солдат. И немая безвольность, и любовный восторг оскверняемой, не сознающей себя чистоты, небо, которое не заплюешь, и стихийное чувство сопротивления, и ужас полусознания... Чудесно. И мучительно, и славно. Радостно, что протест, и протест бессознательный».

Критик В. Л. Львов-Рогачевский в отзыве на рассказ особо подчеркивал, что художник заставляет читателя любить жизнь, хотя повествуется в нем о событиях столь грустных. Это, писал он, «трепещущий поэзией очерк... Он написан со строгой сдержанностью, недосказанностью, его не читаешь, а жадно пьешь строка за строкой и, кончив, долго не можешь успокоиться, долго сидишь, как очарован-

ный».

Философ и литературный критик Ф. Степун считал, что «При дороге» — вещь более совершенная и более значительная, чем очень близкая по теме повесть «Митина любовь». Он писал: «В „При дороге“ Буниным рассказано, как в душе и крови деревенской девушки Парашки сначала дремотно-растительно, нежно („ночным перепелиным трюканьем“), потом острее и томительнее („тоскою горизонтов, дорог, видом и песнею цыганского табора“) постепенно нарастает любовь; как эта безликая любовь постепенно распаляет душу и, слепая, мечется во все стороны, охлестывая задумчивое и страстно-мечтательное сердце Парашки глухими, грешными порывами то к собственному отцу, то к городскому мещанину, то к глупому и страшному работнику Володе; как, наконец, эта любовь, — такая прекрасная в природе и в предчувствии и такая оскорбительная и смрадно-душная между людьми, — доводит ни в чем не повинную Парашку до преступления и безумия».

Примечания

1

Т. е. пестрые; примесь рыжих к серым или к черным и белым.

[^^^]

2

Искаженные строки из «Русской песни» А.В. Кольцова:

*И тех нет уж и дней,
Что летели стрелой,
Что любовью нас жгли,
Что палили огнем!*

[^^^]

3

Огороженное место для скота

[^^^]